

Р Е Л И Г И Я

ПРАВО НА МЫСЛЬ И СВОБОДА СОВЕСТИ

По словам Петра Яковлевича Чаадаева, русского мыслителя прошлого века, всякому приезжающему в Москву иностранцу любят показывать две достопримечательности: царь-пушку, которая никогда не стреляла, и царь-колокол, который свалился прежде, чем звонил. Сегодня ему, наверное, покажут еще и знаменитые кремлевские соборы, ставшие такими же курьезами для туристов, ибо в них не бывает служб.

О чем он подумает, вступив на Красную Площадь, или, вольных берегов не покидая, только взглянув, скажем, на одно из бесчисленных изображений храма Василия Блаженного, ставшего уже как бы ее эмблемой? Этот храм - как открытка, обратную сторону которой каждый заполняет своими ассоциациями, обращая их то ли к России вообще, то ли к цитадели коммунизма, то к святой Руси, то к военной мощи стран Варшавского договора, то к русскому коварству, русскому балету, русской зиме, то к Ленину-Сталину, то к Ивану Грозному, то к загадочной славянской душе, то к "глости" и "перестройке", а, может, и к тому отчаянному парню, что чуть ли не на самые его маковки посадил однажды свой летательный аппарат. Кому угодно собор напомнит о чем угодно, только об одной вещи он, пожалуй, заставит забыть: о том, что и он когда-то был храмом, домом молитвы, а не бутафорским ящиком для цветных картинок.

Но, по правде говоря, Василию Блаженному и его собратьям, кремлевским и близлежащим соборам, еще повезло: каменные, на тысячелетия построенные их тела все-таки сохранились и ведут свое посмертное безобидное существование в качестве музеев и памятников народного здочества. Музеи - добрая вещь, но есть в них какая-то мягкая хищная властность; из предметов, которые они поглощают, постепенно и безвозвратно уходит жизнь. С тихим, вежливым фанатизмом они все на свете переводят на свой безликий язык, и живые нареции незаметно растворяются в этом книжном жаргоне. Походите как следует по музеям, и вы, если примите их всерьез, всерьез и уверуете, что наши предки для того и строили храмы, чтобы в нашем веке они стали замечательными архитектурными памятниками, что иконописцы для того и писали образы, чтобы заэвидетельствовать еще раз о своей принадлеж-

ности к Московской или Новгородской школе иконописи, а древние мастера занимались чеканкой священных сосудов, чтобы только поддержать традиции лучших итальянских мастеров.

Сегодня эти памятники, бывшие когда-то церквами, объясняются с любопытными посетителями лишь с помощью особых переводчиков-экскурсоводов, обученных их немому языку. Им, памятникам или руинам, нечем объяснить свое изначальное предназначение. Дело не только в том, что они лишены языка богослужений. У них вырван язык их традиции, язык того неба и той земли, что когда-то вызвали их к жизни. Они оторвались от культуры, их породившей, той культуры, которая меньше всего была занята праздным разглядыванием прошлого, а жила или хотела жить скорее предвосхищением "жизни будущего века".

Конечно, богослужения прекратились не всюду, и тысячи действующих храмов еще остались в нашей стране. Однако и они для стороннего взгляда влачат немного призрачное, полумузейное существование. Христианство и прежде всего православие исповедуется у нас безмолвно — молчанием церквей, забросивших в небо свои купола, мерцанием икон, выставленных в музеях или сохранившихся в жилых церквях, или даже сложной символикой разрешенных обрядов и церемоний, совершаемых как будто открыто, но по-своему молчаливо, в неком замкнутом духовном пространстве, для современного взгляда, едва ли проницаемом. Нельзя сказать, что христианство вовсе не имеет у нас социального существования, ибо как-никак оно все же допущено — в виде вот такого непроницаемого "отправления культа". Вернее было бы сказать, что оно не имеет настоящего социального признания. Оно лишено права на открытое существование в культуре. Оно лишено права на мысль.

Веками русское православие выражало свою веру богослужением, таинствами, обрядами, храмовым благочестием, иконописанием и зодчеством и наконец просто укладом жизни. Мысль, в нем заложенная, как бы не нуждалась в рефлексии, ибо никто не оспаривал ее по существу. Лишь подбирайсь к XX веку, она проснулась к своему независимому и полноправному существованию и стала искаль для себя приложений. Сделавшись автономной, православная мысль обратилась прежде всего к тайне Церкви, в которой родилась, и принялась размышлять о ней, полемизируя с другими исповеданиями. Затем, отойдя от противостояния России и Запада, она

задумалась о единстве Церквей. Она оглянулась на икону и назвала ее "уморением в красках". Она взгляделась в тварный миропорядок и увидела в нем отсвет и отражение Божественной Премудрости. Ее темы: становление Богочеловечества, метафизики всеединства, учение о Софии, истоки свободы, судьба человека, пути России, Философия истории, история русской интеллигенции и много других. Через пять лет после победоносной революции большинство еще отстававшихся на родине русских мыслителей было выслано из страны. Судьба немногих оставшихся известна.

Я не думаю, что думаю, что русская революция имела социальную цель всякую религиозную мысль истребить. Скорее всего она имела цель поставить у власти свое, научнейшее и революционнейшее, мышление, при котором иного мышления уже просто не может быть. Еще соблюдался какой-то декорум демократизма, были открыты, должно быть, десятки тысяч храмов (это лишь потом, лет через десять-пятнадцать, количество их сократилось до мизерного), еще шли службы, шли споры, шли даже публичные диспуты, а вот мысли как таковой, мысли верующей, или вере, взыскующей разума, по выражению средневекового богослова Ансельма Кентерберийского, уже не было места. Ее просто не должно было быть. Пусть не говорят, что высылка религиозных мыслителей (не только философов, но и правоведов, историков, социологов) была следствием ихтайной политической оппозиции. Никакой оппозиции в 1922 году в нашей стране уже не могло быть. Позиция была одна, революция настоящая была одна, также как честь, совесть, разум и философия нашей эпохи. Все это могло существовать только в единственном числе, принадлежало партии и не только принадлежало, но и официально отождествлялось с ней. (В партии тогда еще допускались штания и фракции, но в борьбе лишь за единую государственную точку зрения). Остальное же все относилось уже к частным мнениям, к магистральной жизни отношения не имеющим. В магистраль эту давно было вписано отмирание христианства, которое должно было начаться со слова, с культуры, с мысли, с головы.

Скажут, чего не бывает в первые годы революции с ее буйной удалью и размахом. Случались вещи и посерьезней, чем безобидная высылка, сохранившая людям жизнь и возможность для творчества. Но вот десятилетия прошли, высланные давно умерли, но разве сама мысль их, их труды и книги и даже имена, не остались в ссылке навечно? Мысление, которое пришло к власти, не

отпустило ни одного рычага, не подвинулось ни на сантиметр, чтобы дать место, пусть самое малое, символическое, какому-то иному мышлению. И магистраль этого мышления, слившегося со своей властью, остается прежней: окончательное решение религиозного вопроса. Правда, теперь с этим решением, может быть, не так торопятся, до светлого будущего далеко, еще сказка не стала былью, впереди времени многое, и вопрос может быть решен и методами более мягкими, в рамках свободы совести, я бы даже сказал, с помощью официальной "свободы совести".

Мы читаем в одной из бесчисленных атеистических брошюр:

"Окончательное преодоление и устранение религии из жизни общества достигается с точки зрения марксизма-ленинизма, в условиях, когда возможен сознательный отказ от ошибочных убеждений. Такие условия обеспечиваются тогда, когда человеку доступно получение необходимой информации о мире вообще, о путях развития общества, явлениях природы и т.п., когда отсутствует безграничное господство религиозного мировоззрения, навязывающего человеку извращенное представление о действительности. Это может быть достигнуто лишь при полной свободе совести в ее марксистско-ленинском понимании..."¹⁾

Сейчас - когда несправедливость вопиет к небу - уклончиво говорят, что во всяком государстве есть много нерешенных проблем. И при некотором оптимизме можно надеяться, что настанет когда-нибудь и в нашем государстве такой день, когда все узники совести выйдут на свободу, отказники уедут, куда пожелают, а крымские татары вернутся к себе домой. Но можно ли, не безумно ли уповать на то, что однажды само государство усомнится в своем праве на обладание единственной правильной информацией о мире? Когда его монополия на мысль и знание станет нерешенной проблемой для него самого?

Да есть ли вообще, существует ли в природе такое понятие - право на мысль, и в частности, на мысль христианскую? Теперь стали постепенно говорить о праве на информацию, но это право бессмысленно без права на интерпретацию, ибо зачем же что-то знать, если ты сам не вправе осмыслить то, что знаешь? Но всякая работа религиозной мысли рассматривается у нас как потенциальная запланированная агрессия против господствующего миро-

¹⁾ Е.А.Розенбаум. Советское государство и церковь. Изд."Наука", М., 1985, стр. 33.

воззрения. Всякое слово о вере, произнесенное за стенами храма, считается уже попыткой ее навязать. Намерения отстоять свои убеждения перед натиском атеизма делается как бы с умыслом на него посягнуть¹⁾. Поэтому господствующее мировоззрение всегда пребывает как бы в оборонном контрнаступлении; да, религии оставлено право на жизнь, но на жизнь подпольную и угрожающую (я не говорю сейчас о жизни рекламной, которая, в общем, тоже есть жизнь, но лишь для нескольких ее представителей). Само ее существование сведено к участию в обрядах, ее жизненное пространство — к местам отправления культа, и в этом и состоит "полная свобода совести в ее марксистско-ленинском понимании". Понимание же это заключается в том, что такое "участие" и "отправление" или, как с легкой руки одного из основоположников, у нас принято говорить, "удовлетворение религиозных потребностей", с самого начала предполагается чем-то по сути своей бесмысленным. Да и сама религиозная совесть, хоть и свободна, но бесмыслена, ибо связана "извращенными представлениями о действительности"; с государственной, единственной разумной точки зрения, она держится за иллюзии и стоит на лжи. Государство, если и позволяет из гуманных соображений удовлетворять ей ее темные иrudиментарные потребности, все же не оставляет твердых надежд и энергичных усилий когда-нибудь эту совесть переубедить, обогатив правильной информацией о мире, чтобы заставить ее и от себя, и от потребностей своих отказаться²⁾

Отказаться по собственной воле или, там, путем неумолимой диалектики истории, в этом пусть история потом разбирается, если будет у нее интерес. На сегодняшний день вопрос ясен: у извращенных представлений не может быть никаких толковых мыслей. У религиозных потребностей не может быть никакой культуры. Они удовлетворяются вне культуры, где-то на уровне дорациональном, атавистическом. Душа религиозная предполагается существом архаично дремучим или в лучшем случае младенческим. Что ей мысль, культура, свобода совести?

Да и что такое культура? Если говорить о нематериальной

¹⁾ В Уголовном Кодексе РСФСР, например, среди статей, касающихся изготовления и сбыта наркотиков, изготовления и сбыта порнографии, содержания притонов и сводничества, есть статья "Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов" (227). Содержание притонов — посягательство, точно также, как и кружок по катехизации детей!

²⁾ Подробнее об этом говорилось в моей статье "Религиозные потребности и христианская вера".

ее стороне, то в формальном и современном смысле это прежде всего информация. Церковь – это в определенном аспекте еще и громадный запас информации, ибо за каждым действием, в ней происходящим, за всяkim ее догматом или символом, сконденсирована огромная информационная энергия, собравшая в себе вековую работу мысли и веры, накопившая в себе творчество, память, предание многих человеческих поколений. Каким образом весь этот сжатый духовный и интеллектуальный опыт, без которого вера иногда бывает по-младенчески или по-стариковски мудрой, но редко бывает сознательной, может быть передан современным верующим? Проповедь, когда она читается в храме, или сами действия, в нем совершаемые, способны донести до сознания лишь весьма невеликую часть ее. Жизнь в Церкви требует культуры – не только малой и необходимой образованности, которую, впрочем, тоже неоткуда почерпнуть, – но активного усвоения хранимой в ней памяти, овладения, по учению выражаясь, ее сложнейшей семиотической системой, вживания в строй ее мыслей и чувствований.

Культ сам по себе, если не касаться сакримальной его стороны, не может быть замкнут в себе самом или отделен от людей, в нем участвующих. Он обращен всегда к человеческому сердцу – сердцу разумеющему, как называет его православная традиция, т.е. уже обладающему внутренним введением истины, уже укорененному в Боге. Но что сказать о сердцах – их всегда большинство – называемых в Библии "необрязанными", "несмыщенными и медлительными"! "Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их", – говорит апостол Павел (2 Кор.3,15), и таким же служением букве, а не духу может быть и участие в культе. Но для них-то и может стать внятен и действенен язык культуры, на котором Церковь вправе выразить свою весть также, как и на всяком другом. Однако этот язык – как и культура Церкви в целом – лежит сегодня под спудом, если не под запретом.

Здесь необходимо сделать несколько уточнений, на мой взгляд самоочевидных. Церковь ни в коей мере не есть только культура, ибо она не принадлежит целиком ни к одному из явлений этого мира. Существует, однако, культура Церкви (а помимо нее еще и – "религиодная культура"), равно как и Церковь для внешнего мира может рассматриваться как явление культуры. Это три разные вещи, и мы их должны различать. Когда мы произносим слово "культура", мы подразумеваем человеческое творчество и человеческую

свободу. И если мы говорим о культуре в Церкви, а точнее, о культуре, ставшей Церковью (т.е. ее Преданием, ее песнопениями или догматами), то мы имеем в виду сотрудничество двух энергий, божественной и человеческой, или синергию. Человек; чья творческая воля и мощь соединяется с молитвой и преображается в ней, приобретает способность создавать вместилища или сосуды, куда нисходит Дух Святой - и в этом состоит тайна культуры, которая воплощается в Церкви. Всем памятен пример рублевской "Троицы", которую о.Павел Флоренский предлагал в качестве самого неопровергимого из доказательств бытия Божия, но этот пример - лишь один среди многих других.

Но есть здесь и своя опасность. Когда "Троица", как и любой другой предмет, любой другой символ, отсекается от жизни Церкви и возводится в ранг некой автономной культурной ценности, предоставленной нам для восхищения или исследования, то с этого акта обособления и разделения начинается то культурное идолопоклонство, в котором сама культура незаметно разрушается изнутри, лишается питающего ее духа. Тайна культуры, которая высветляется в Церкви, непременно тускнеет даже в самых умных и благожелательных рассуждениях о ее "поэтике", идет ли речь об иконописи или писаниях Отцов Церкви. Я бы сказал -

- что одна и та же икона, воспринимаемая как место благодатного присутствия и разглядываемая "просто так" (неважно где, в храме или в альбоме) - это один предмет, но два разных явления. В любых музеях, будь то даже музеи духа, культура Церкви подвергается тонкой профанации, поскольку во всех музеях устанавливается всегда априорное и обманчивое равенство между сокровенной жизнью того или иного "памятника" и нашей способностью вместить ее или приобщиться к ней. Если всякое произведение искусства оживает лишь в исполнении, то тем более это относится к произведению искусства или мысли, которое служит Церкви. Оно должно "исполниться" в сердце человека и тем самым изменить его, чтобы "приготовить путь Господу", дать месту слову или Духу. Нет культуры Церкви вне жизни Церкви. Однако жизнь Церкви вне культуры, жизнь, сведенная лишь к "отправлению культа", чаще всего сводится к существованию в духовном гетто.

Ну, а теперь от теоретических экскурсов обратимся к вещам

конкретным. В нашей стране православная община насчитывает десятки миллионов людей. Степень их веры и вовлеченности в церковную жизнь весьма различна, но предположим, что у одного из десяти может пробудиться подлинный интерес к этой жизни - к истории Церкви или к ее догматике, литургии или агиологии, иконографии или гимнографии, аскетике и морали т.п. - что может предложить им Церковь? Если говорить о печатной продукции, то на сегодняшний день Церковь может предложить: один тонкий, с своего рода ведомственный ежемесячный журнал (и еще один на украинском языке), на три четверти, как правило, пустой для рядового, но пытливого читателя, и еще сравнительно объемистый сборник "Богословских Трудов", выходящий один-два раза в год. Разумеется, эти издания, в особенности последнее, выходят символическими тиражами, и само выражение "может предложить" применимо пока лишь к реальности юбилейно декоративной и ни к какой иной.

Я не буду здесь входить в обсуждение того, насколько в этом журнале и сборнике допущена живая испытующая мысль, без которой невозможно существование настоящей религиозной культуры. Возможно, такая мысль там иногда и присутствует (в проповедях или "Трудах"), но исходит она, как правило, от людей, которых давно нет в живых. Мысль не может быть расчитана лишь на усвоение, благоговейное и пассивное, общая же установка именно такова. Были в Церкви когда-то проблемы, но на наш век достались почему-то одни юбилеи по поводу славного разрешения этих проблем, таких, скажем, как восстановление иконопочитания на VII Вселенском Соборе, или восстановление патриаршества 70 лет назад. Приметы же нынешнего времени в церковном журнале можно заметить только по международным акциям и визитам и приветственным телеграммам. Помимо этих изданий, у нас издаются ежегодно церковные календари и время от времени переиздаются богослужебные книги - Октоих, Постная и Цветная Триодь, Минеи, Часослов - последние, понятно, только для священнослужителей. Здесь воспроизводится неизменное, устоявшееся предание Церкви, тот ее сакральный язык, на котором православие говорит со всеми, кто уже находится в его ограде, но это не тот язык, на котором люди могут отвечать Церкви. Есть еще Священное Писание (оставим вопрос о его тиражах); оно неизчерпаемо и будит мысль, но эту мысль, в общем, негде воплотить, а по закону ею ни с кем не

следует делиться. Прибавим сюда еще и компилятивную "Настольную книгу для священнослужителей", и, кажется, это будет все, что издается у нас под общим названием "религиозная литература". На сегодняшний день даже учебники для духовной семинарии и академии, по которым учатся будущие пастыри, у нас не могут быть изданы и перепечатываются на машинке.

Культура ли это? Да, это культура молитв,культура созерцания,культура обрядов для исполнения,культура внутренней духовной работы, обращенная как бы к вечности. Это тот молитвенный язык, на котором люди говорят с Богом, но не между собой. На этом языке "от избытка сердца глаголят уста", но уста отцов и учителей наших по вере, но не наши и не наших современников. Между тем культура - и в религиозном, так и в общечеловеческом смысле - это еще и некое духовное пространство, в котором человеческие существа могут встречаться, общаться и понимать друг друга на основе связующего их и разделенного ими внутреннего, личностного опыта. Это может быть опыт веры, опыт жизни в Церкви, опыт богоопознания, опыт молитвы или постижения Библии. Точно также это может быть опыт осмыслиения гуманизма, опыт нравственных ценностей русской литературы или восприятия музыки. Соединяясь или вступая в диалог в этом опыте, мы открываем подлинное "я" нашего ближнего - и уже здесь начинается христианское оправдание культуры! - и оно поистине предстает перед нами как "ты", как неповторимая личность другого, которую мы узнаем в себе самих и тем самым обретаем собственную личность. Культура есть та сфера межчеловеческого, в которой люди открывают друг другу не так муравьи или функции, но именно как люди, т.е. как существа, которые одарены разумом, памятью, инстинктом познания и жаждой общения, поиском истины и потребностью веры, которые бесконечно превосходят самих себя.

Однако перенесем это определение в сегодняшний храм, и мы услышим здесь "язык, пространства, скатого до точки", говоря словами поэта. Как это ни странно, в церковной общине духовное пространство общения между людьми, сведено к минимуму, сфера собственно межчеловеческогоуже донельзя. То начало, которое делает людей теми, кто они есть, и соединяет в религии, - тот начаток Духа", по слову апостола Павла (Рим.8,23) - не имеет права на социальное выражение ни в культуре, ни в мысли, ни в служении ближнему. Религиозные потребности удовлетворяются как

будто и сообща, но вместе с тем – каждым в одиночку, и те, кто могут вместе подолгу молиться, часто никакой не испытывают нужды, чтобы друг с другом просто разговаривать. У них нет того, что можно было бы назвать культурой христианского общения, они о ней слыхом не слыхивали, сама возможность ее у нас подсекается на корню. Да и не атрофируется ли сама "свобода совести", когда она предоставляется религиозным монадам? Мы, как члены нашего свободного общества, можем и даже непременно должны свободу своей совести публично расхваливать, но как члены Церкви мы не вправе говорить открыто о сути своей совести, поскольку это как пропаганда запрещено.

Наконец культура – это творчество и право на творчество, но не только. Это еще и право на собственный духовный выбор, на свою веру, на свои убеждения и образ жизни, в каком-то смысле и на свою личность в целом. Свобода совести, как она понималась и понимается по сей день, допускает существование религиозной культуры лишь в виде материальных ее воплощений, в виде будущих музеиных экспонатов: икон, соборов, сосудов, облачений, наконец обрядов и церемоний в действующих храмах. Но она не признает существования религиозной культуры внутри отдельной человеческой личности, отстаивающей свой жизненный путь, свои принципы и представления о мире. Совесть верующего как бы свободна, но в целом она должна быть устроена так, чтобы носитель ее ни мыслями, ни поведением, ни обликом не отличался от прочих образцовых членов нашего общества. Члены эти в детском возрасте с гордостью носят пионерский галстук, с готовностью служат в армии, с радостью поддерживают и одобряют все мероприятия партии и правительства и даже в случае нужды с охотой овладевают основами научного атеизма. Собственно, иных, законных возможностей для верующей совести у нас как-то не предусмотрено. Ее свобода – в общем шагать строю.

Ну, а каждый шаг в сторону, как поется у Галича, рассматривается как побег. Какой там побег! Как прямое пособничество врагу в разгар боевых идеологических действий, чуть ли не как выполнение его оперативного задания... Какой статус имеет у нас христианская мысль, религиозная культура в целом, существующая сама по себе, вне цензуры, вне контроля, вне планового хозяйства, так сказать, в свободном полете? С одной стороны,ника-

кого статуса она не имеет и пребывает в небытии и невесомости. Когда она попадается на обысках, то наваливается просто в мешки, и если прямого криминала не содержит, то, как правило, больше не всплювает нигде и исчезает бесследно. (Автор говорит это, исходя из опыта, своего и не только своего. Кроме того, я думаю, - но это уже мое предположение - что государство наше жалеет свои мешки и не станет вечно держать из забитыми неизвестно чем. Мусор отправляется туда, куда и всякий мусор, а тара используется многократно). С другой стороны, как только эта самая мысль материализуется где-то на Западе, становится публикацией или радиопередачей, то, оставаясь по-прежнему в небытии, она тотчас делается враждебной, заряженной сугубо отрицательно, изготовленной с умыслом... Только один пример: что знает советский читатель, например, о "Надежде", сборниках христианского чтения, которые могли бы здесь читаться массами верующих людей, будь у них такая возможность? Предполагается, что ничего об этой "Надежде" он знать не может и не должен, потому что такая не издается и никакой нет. Однако в одной из книжонок, вышедших уже после того, как составительница этих сборников была арестована и получила свой срок, тот самый читатель, кому ничего не положено знать, может прочесть следующее: "Надежда" - специальная акция, предпринятая ЦРУ для подрыва и ослабления по каналам религии, выскавшее и нанявшее с этой целью некую Зою Крахмальникову... Чтобы долго не распространяться на эту тему, скажем, что на сегодняшний день накопилась, пожалуй, целая библиотека этих враждебно несуществующих книг, сложилась даже особая область подрывного мышления, за которым, искусно скрываясь, стоит ЦРУ, собралась целая плеяда инспирированных им авторов...

Но есть и другие авторы, не враждебные, не бунтующие, нашедшие себе какое-то место в системе и в то же время желающие быть христианами. Ведь есть среди наших "мастеров культуры" люди даже церковные, и приватным образом это ни для кого не секрет. Ни для кого, за исключением разве цензуры, куда в любые времена все должны представлять свои сочинения. (Разумеется, я говорю о цензуре в широком смысле, ибо это учреждение невероятно разветвленное, которое начинается в голове у всякого пишущего). Цензура бывает и ленивой, а ныне, при перестройке, даже и вольномыслящей, но она всегда помнит о границах допустимого и

никому не позволит за них зайти. Христианин, желающий воздержаться от служения в ЦРУ и быть у нас напечатанным, всегда пишет в соавторстве со своим внутренним цензором, что в конце концов сливается с его творческим "я". Их совместное творчество полно красноречивых намеков и умолчаний, часто прикрываемых беспристрастной научной объективностью, моральным пафосом, гуманностью, эрудицией, "вечными ценностями" или же зигзагообразными заходами в Библию, где их и подстерегают идеологически правоверные критики, хорошо знающие, куда можно, а куда нельзя заходить советским литераторам. Конечно, разговор о Боге, Которого мы исповедуем, требует целомудрия,держанности и даже некоторой недосказанности, но когда эта недосказанность от запрета, от неуемного соглядатая, помыкающего нами изнутри, она имеет в себе нечто немощное и тягостное.

Есть читатели, которые приноровились читать между строк, и есть авторы, которые овладели искусством писать между строчками, так что текст у всех на виду, а настоящий его смысл припрятан для посвященных. И посвященные бывают очень довольны, когда им удается этот смысл отыскать, как довольны бывают сами писатели, когда они облекают его туманом и шифром. Может быть, такая игра в чем-то окажется полезна для русской культуры, но достойна ли она ее - вот вопрос. Мне кажется, что определенная часть нашей православной интеллигенции уподобляется сегодня апостолу Петру, когда он последовал за Иисусом во двор первосвященников. Затерявшись среди других, сидит он в кругу его недругов и охранников, но когда его замечают, когда ему прямо говорят: и ты был с Ним, вот и речь твоя обличает тебя, Петр отвечает: не знаю, о чем ты говоришь.

Впрочем, мы уклонились; речь идет уже не о праве, в котором нам отказывают, но о достоинстве, коим мы изначально наделены. О достоинстве христианина, кем бы он ни был, писателем или просто человеком, желающим жить по своей вере. Речь идет о достоинстве, о которого начинается свобода совести, да и любое право. В том числе право на культуру и право на мысль.